

Эдвард Говард

# Приключения Ардента Троутона



Эдвард Говард

**Приключения Ардента Троутона**

«Public Domain»

1836

**Говард Э.**

Приключения Ардента Троутона / Э. Говард — «Public Domain»,  
1836

«Вечность, таинственный предмет наших размышлений, как легко мы забываем тебя, когда опасность не угрожает нашей жизни! Этим восклицанием решаюсь я начать свое жизнеописание. Я не выдаю его за новое; но беру на себя смелость наперед сказать моим читателям, что оно удивительно идет к делу и всегда первое приходит мне в голову, когда гляжу я на прошедшее, на те дни, которые были так полны тревоги, любви и превратностей судьбы человеческой...»

# Содержание

I	5
II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# Фредерик Марриет

## Приключения Ардента Троутона

### I

Вечность, таинственный предмет наших размышлений, как легко мы забываем тебя, когда опасность не угрожает нашей жизни!

Этим восклицанием решаюсь я начать свое жизнеописание. Я не выдаю его за новое; но беру на себя смелость наперед сказать моим читателям, что оно удивительно идет к делу и всегда первое приходит мне в голову, когда гляжу я на прошедшее, на те дни, которые были так полны тревоги, любви и превратностей судьбы человеческой.

Я воспитывался в Англии, хотя мой отец, природный англичанин, жил постоянно в Испании, имея торговые дома в Мадриде и Барселоне. На двенадцатом году меня отдали в школу в Норвиче, в руки наставника, который мог бы быть весьма замечателен по учености, если бы она не затмевалась блеском его строгости. Он учил меня до семнадцати лет. В продолжение этого времени я получал из Испании аккуратно по два письма в три месяца, одно от батюшки, наполненное советами, другое от матушки, переполненное желаниями, чтобы я был здоров, весел, счастлив, и страшными ошибками против грамматики английского языка, потому что матушка была испанка. На праздники я ходил поочередно к трем батюшкиным корреспондентам, и эти периодические посещения составляли единственное мое развлечение, однако имели и свою полезную сторону: мало-помалу я начал без труда отгадывать, выгоден или невыгоден для Англии испанский курс денег, смотря по тому, ласково или не ласково меня принимали.

Что касается моих свойств в это время, то мне почти нечего о том говорить: казалось, что у меня были только одни отрицательные качества; например: я не был ни ловок, ни неловок; ни хорош, ни дурен; я не обнаруживал ни к чему особенной склонности, бывал весел с веселыми, печален с печальными, не знал за собой никакого порока и не прельщался никакой добродетелью, вел себя хорошо, но единственно по инстинкту, а не по нравственному убеждению. Меня сравнивали с воском. Оно так, пожалуй, но под воском таились сера, селитра, смола.

Наконец, я поступил приказчиком в торговый дом «Барнеби, Фок, Перес и К°», с которым отец мой имел значительные дела. Компаньоны жили каждый особо; контора помещалась у Фока, и я поселился также у него. Это было семейство, благословенное плодородием, – пять сыновей и пять дочерей; впрочем, характеры молодых людей, подобно моему, чуть виднелись в легких контурах, не поражая силой и живостью красок.

Живя в доме мистера Фока, я понемножку проник во все таинства купеческой бухгалтерии и начал с удивительной чистотой писать счета. Графы, выведенные красными чернилами, пересекались у меня всегда под прямым углом со строками; малейшее пятнышко на фактуре, мною написанной, приводило меня в ужас, как пятно на добром моем имени. Хозяева видели во мне молодого человека весьма способного к делу; знакомые девицы находили, что я очень любезен и что в моей физиономии есть нечто классическо-романтическое. Но вообще моя жизнь была крайне однообразна: монотонность ее нарушилась только одним обстоятельством: с письмами от батюшки и матушки я начал получать третье письмо, от сестры, по имени Гонория, которой никогда не видал. Ее послания, видимо, были сочиняемы под надзором учителя: слог чинный, официальный; английский язык страдал в них ужасно. Для совершенной ясности будущего рассказа должно тут же заметить, что Гонория была не дочь моих родителей, а только приемыш, но они любили ее как дочь, называли дочерью, скрывали от меня ее происхождение, и я чистосердечно почитал ее сестрою.

И таким образом я дожил до двадцати лет, ускользнув от кокетства хозяйских дочек, от намеков их заботливой маменьки и от ловкой тактики самого господина Фока, который, осуждая брачную жизнь, заключал обыкновенно словами: «Но берегись, мой милый Ардент: мне кажется, что твои достоинства не скрылись от Агаты, Элеоноры, Миры...» Господин Фок перебирал по очереди всех своих дочерей. Оно, конечно, было бы очень естественно, если бы я и женился на какой-нибудь из них, тем более что мне уже становилось довольно приятно делать наблюдения над раскосыми глазками двенадцатилетней Миры; но судьба того не хотела: батюшка приказал мне ехать к себе.

Это неожиданное требование поразило всех Фоков пуше громового удара. Пять мисс попадали в обморок; с маменькой сделалась истерика, спазмы или что-то в этом роде; а сам мистер Фок несколько раз протирал очки и перечитывал батюшкино письмо, после чего, уверившись, что в нем нельзя вычитать ничего нового и что он действительно лишается выгодного зятя, произнес с горечью: «Какая потеря!» Но что касается меня, то я оставался совершенно равнодушным и спокойно, методично готовился в путь. Это бесило моих хозяев: отец говорил, что у меня нет никакой энергии, мать, посматривая на дочерей, повторяла, что у меня нет вкуса; а дочери хором провозглашали, что *у* меня нет сердца. Я ничего не понимал: я был тогда поистине Квайет Трoutон<sup>1</sup>, как меня прозвали вместо Ардент.

Накануне моего отъезда все семейство собралось за ужином. У всех мисс глазки были красны, щечки бледны; миссис Фок не скрывала более своего горя, которое выражалось перемежающимися всхлипываниями; супруг ее был важен, задумчив и ел с такой жадностью, как будто хотел излить жестокость своей печали на каждое из подаваемых блюд. В аппетите его было что-то до крайности трогательное, и когда он наелся досыта, то сказал мне голосом печальным до *plus ultra*:

– Мистер Трoutон, передайте мне эту бутылку... О, милый Ардент! Здесь, посреди своего семейства, в присутствии нежной супруги, пяти дочерей во всем цвете красоты и пяти сыновей, которые служат опорой моей старости, здесь я хочу излить перед тобой скорбь. Так как по утрам я встаю с постели не ранее девяти часов, а ты отправишься в восемь, то я прощусь с тобой с вечера.

При этих словах все пять мисс вздохнули, как по команде, и Агата промолвила, что тяжело прощаться с друзьями.

Я поклонился мисс Агате и сказал, что, вероятно, скоро приеду назад.

– О, нет! – воскликнул мистер Фок. – Этого никогда не будет! Ты слаб, ты готов всякому покориться... Нет, ты не воротишься!

– Я не заметила, чтобы мистер Трoutон был готов покориться всякому, – возразила Агата, потупив глаза.

– А я могу сказать, что он и не слаб, – прибавила маленькая Мира, – однажды он поднял меня, как куклу, и...

– И что? – спросило несколько голосов, среди которых особенно был заметен резкий голос миссис Фок.

– И, поцеловав, поставил опять на землю, – отвечала Мира.

– А!.. – произнесла маменька, – ну, в таком случае я согласна, что мистер Трoutон, может быть, и воротится.

Наконец мы встали из-за стола и столпились у камина. Мистер Фок, любивший меня искренне, дал мне несколько обыкновенных стариковских советов и заключил следующим:

– Я считаю долгом сказать, милый Ардент, что во все пребывание у меня ты вел себя превосходно; ты не закапал чернилами ни одного счета и не старался вскружить головы ни одной из моих дочерей; по воскресеньям ходил в церковь, никогда не возвращался домой за

---

<sup>1</sup> Quiet – спокойный, ardent – пылкий. (Прим. пер.).

полночь, никогда не заставил ждать себя к обеду. Итак... прощай! Да будет над тобою благословение Божие! Останься навсегда кротким, благоразумным и честным человеком и помни, что, будешь ли ты богат или беден, всегда найдешь у меня добрый прием. Не забудь сказать отцу, что он еще должен нам за последнюю партию вина, которое оказалось хуже посланных им проб.

Сказав это, мистер Фок пожал мне руку и ушел спать. Сыновья сделали то же. Маменька хотела последовать их примеру, но видно ей показалось, что будет гораздо эффективнее удалиться молча, трагическими шагами, ломая пальцы. Дочки, все, кроме маленькой Миры, сделали мне по подарку на память, кто кошелек, кто часовой шнурок и прочее, все собственной работы. Мира не подарила мне ничего, но дала от себя письмо к сестре моей Гонории. На другой день, рано поутру, я был уже на бриге «Джени», отправлявшемся в Барселону под начальством шкипера Томкинса, человека глупого и грубого, который вдобавок к тому пил без просыпа. Помощник его, Гевль, знал лучше свое ремесло, но, к несчастью, был также очень крутого характера. О матросах и говорить нечего: Томкинс набрал их дешево из госпиталей. Единственное существо, общество которого показалось мне приятным, была большая собака-водолаз, Баундер. Я с нею скоро завел самую тесную дружбу, и когда мы потеряли из вида берега Англии, я на нес одну возложил всю надежду не потонуть с пьяным шкипером и дрянным экипажем.

Крепкий северо-восточный ветер дул целые сутки с таким постоянством, что его нельзя сравнить ни с чем, кроме разве болтовни старой сплетницы. Убрали несколько парусов, у других взяли рифы. Шкипер, в надежде, что ветер скоро утихнет, напился, лег и благодаря тому нашел в своей каюте спокойствие, которого не было ни на палубе, ни в воздухе, ни на поверхности моря. Между тем я захворал морской болезнью: если выходил наверх, то не мог стоять на ногах; оставаясь в каюте, не был в состоянии выносить духоты и вони. Моряки называют все это мелкими неудобствами своего житья, но для меня, сухопутного человека, они были мучительны. Вдобавок наш бриг, если можно так называть разохшуюся бочку, в которой мы плыли, ужасно скрипел, а пьяный шкипер, отделенный от меня тонкой дощатой переборкой, храпел и сопел немилосердно. Я не мог более выдержать своего положения, и тут-то впервые обнаружилась раздражительность моего нрава. Ползком, кое-как выбрался я на палубу. Морс сильнее штормило, по мере того как мы удалялись от берегов. В той же прогрессии делалось угрюмее и мрачнее лицо нашего штурмана. Бриг летел быстро по направлению к Гибралтарскому проливу; он резал волны с ужасной силой; ночь была холодна; палуба и снасти покрылись инеем. Легко себе вообразить, что я не мог быть в хорошем расположении духа, когда добрал до тесного пространства, которое у нас величали шканцами. Мне встретился штурман. Он шел торопливо, чтобы отдать какое-то приказание, и, толкнув меня, сказал сердито:

– Посторонитесь.

– Мне ли вы говорите, господин Гевль?

– Да.

– Вы очень неучтивы, сударь.

– Я делаю свое дело; вы мне мешаете, а в таком случае, кто бы вы ни были, мне все равно.

После этого Гевль толкнул меня еще раз и сильнее прежнего. Я вспыхнул от бешенства, но удержался, подошел к Гевлю и сказал, положив руку ему на плечо:

– Вы меня оскорбили и должны просить извинения.

– Убирайтесь к черту!

– Говорю вам, что вы должны просить извинения! Здесь в своей стихии, в такую минуту, когда я не могу стоять без опоры и когда вся душа моя взволнована, вы, конечно, можете меня обижать: я не в силах сам противиться. Но не внушайте мне мыслей, приличных только отчаянным; умоляю вас для собственной вашей и моей пользы... попросите у меня извинения.

– Я уже вам сказал, нет! Если бы мне случилось обидеть человека, который вполне заслуживал бы этого названия, тогда другое дело; но чтобы мне, моряку, извиняться перед белой, наруганной, раздушенной куклой... Нет, говорю я!.. Хоть бы вы мне приставили нож к горлу, по обыкновению своих соотечественников испанцев. Я, право, готов лучше околеть от руки какого-нибудь испанского выроodka, чем тянуть эту проклятую жизнь, которая утомила меня.

Последние слова Гевль произнес так грустно, и на лице его мелькнуло такое горькое выражение, что желание мести в один миг замерло в моем сердце.

– Мистер Гевль, – сказал я ему гораздо спокойнее, – вы не хотите просить у меня извинения, видя во мне что-то, не заслуживающее название человека. Согласен. Я, точно, не моряк и не могу сносить тягостей этого звания; не могу так твердо, как вы, держаться на корабельных досках; но случается, что человек, не обладая ни одной из способностей, свойственных моряку, имеет твердую душу, сильную волю и мужество, готовое подвергнуться всякому испытанию. Не хвастаясь такими достоинствами, я, однако же, надеюсь, что у меня их довольно на то, чтоб стоять наряду с Джемсом Гевлем.

– Докажите!

– При случае, мистер Гевль. И вы тогда сознаетесь в своей ошибке и попросите у меня извинения.

– Вот это дельно, мистер Трутон. Я согласен. Случай вам скоро представится, потому что бригу несдобровать.

Мало-помалу, забыв о своей ссоре, мы разговорились с Гевлем как добрые приятели.

– Почему же вы думаете, что бригу несдобровать? – спросил я.

– А вот почему, – сказал Гевль. – Прошлую ночь я видел *смертный огонь*; он больше часу светился у нас на вершине мачты; кроме того, старик Гопинс заметил у самой кормы чудовище... наполовину рыбу, наполовину гиену, которое знает уже наперед, где ему будет добыча. Негодяй! – вскричал Гевль, повернувшись к матросу, который правил рулем, и ударив его по лицу, так что в того потекла кровь изо рта и из коса. – Вперед делай свое дело лучше! Или ты хочешь, чтобы мы прежде времени пошли на дно?

Гевль взялся сам за руль, вывел бриг на потерянный курс и потом хладнокровно передал руль виноватому, который не успел стереть кровь с лица.

– Однако же, я все не понимаю, отчего вы думаете, что мы в опасности? – сказал я. – Правда, нас стала беспокоить сильная боковая качка, но мне кажется, это еще ничего не значит. Признайтесь, что в вашем предсказании есть немножко суеверия.

– Право? Ну, думайте, как хотите! А я только скажу вам еще вот что. У нас на бриге развелось было множество крыс: такой цветущей колонии не найти ни на одном судне в Темзе, от Лондонского моста до маяка. Но в ту ночь, как мы должны были вытягиваться из гавани, все крысы бежали с брига...

– Неужели? Да это смешно!

– Смейтесь, если вам нравится. Я стоял в то время на вахте и видел своими глазами эту процессию. Долгохвостые перешли на корабль Ост-Индийской компании «Георгий». Сзади плыла старая крыса, у которой шерсть уже поседела. Плывя, она оглянулась на наш бриг и покачала головой, как судья перед чтением приговора. Мне, признаюсь, страсть хотелось взять свою трость да отправиться вместе с крысами долой с брига.

– Так на этом-то вы основываете свои опасения?

– А что ж? Крысы в таких случаях умнее людей. Притом у нас на бриге есть убийцы, а это...

– Ох, мистер Гевль! – перебил я, взяв его за руку. – Вы произносите важное обвинение. Уверены ли вы в его справедливости?

– Уверен. Правда, убийство еще не совершилось, но все равно оно совершится. Много ли нужно, чтобы убить человека? Несколько минут назад вы, верно, умертвили бы меня, если бы вам попался кинжал. А из-за чего?

Мне стало стыдно, однако я скрыл это.

– Мы еще сочтемся в обиде, которую вы мне нанесли, мистер Гевль; но до тех пор будем поступать друг с другом великодушно. Я уже оценил ваши достоинства и знаю, что от вас одного зависит безопасность брига.

– Бриг погибнет, говорю вам. Разве что мы успеем отвлечь это несчастье, бросив в море самого убийцу... Но взгляните вверх. Что вы видите?

Не выпуская из рук веревки, за которую держался, я приподнял голову и увидел синеватое пламя, которое дрожало на самой вершине мачты.

– Это *смертный огонь*, – сказал Гевль.

– Помилуйте, – возразил я, – это простое явление, которое называется огнем святого Эльма. Оно происходит от естественных причин и предвещает только грозу, не больше.

– Я все знаю не хуже вас. Но если *смертный огонь* предвещает грозу, то разве этим и доказывается, что мы не погибнем? На земном шаре еще довольно воды, чтобы потопить наш бриг со всем, что на нем есть, – прибавил Гевль полушутливо.

Но едва он успел вымолвить эти слова, как молния прорезала нависшую над нами тучу и ослепила меня на несколько мгновений; гром грянул с ужасной силой, и бизань-мачта, разбитая в щепы, упала на палубу с переломанными реями и изорванными парусами.

– Сюда! Все сюда! – вскричал Гевль. – Бросайте в море обломки! Живее!.. Ох, если бы мне хоть полдюжины добрых рук!

Но прежде нежели приказание Гевля было исполнено, буря усилилась, страшный шквал налетел на бриг, паруса затрещали, судно почти легло на бок, руль повернулся сам собою, и человек, который им управлял, был далеко отброшен сильным толчком. Мы с Гевлем бросились к румпелю, но не могли повернуть руля. Между тем от наклона брига окна кают окунулись в море и вода устремилаь во внутренность.

Гадко было смотреть в это время на пьяного Томкинса, который выскочил на палубу, перепуганный потоком воды, окатившим его во сне. Он дрожал всем телом, бегал, как сумасшедший, ломал себе руки, но не давал никаких приказаний, не предпринимал ничего для спасения судна. Между тем вода по-прежнему лилась через борта, и каюты наполнились ею так, что самые трусливые не прятались внутри брига, а выбегали на палубу.

– Рубите мачты! – кричал Гевль. – Иначе не спастись! Ну, проворнее, друзья мои! Трoutон, ступайте за мною.

Гевль схватил топор, сильный негр взял другой. Они живо принялись за работу, и менее чем в минуту мачты лежали на палубе, завалив ее снастями. Между тем руль сорвался с крючьев и колотился о корму. После напрасных усилий поправить его принуждены мы были вовсе отнять его и отдать в жертву волнам, чтобы он не повредил самого брига.

– Теперь к помпам! – скомандовал Гевль, и все принялись выкачивать воду.

По счастью, ветхое судно наше еще было совершенно цело; течи не оказалось нигде. Вода убывала по мере того, как мы грудились над помпами. Буря стала стихать. К полуночи воды в бригае оставалось только на шесть дюймов, и так как не было уже ни малейшей опасности то Гевль подошел ко мне и сказал:

– Мистер Трoutон, я должен сознаться, что вы вели себя как прилично мужчине, и, не краснея, скажу, что мне очень жаль, очень досадно, что я с вами грубо обошелся. Но еще прискорбнее мне видеть вас на этом бригае, потому что он осужден на неминуемую гибель. Как бы то ни было, советую вам идти отдохнуть. Спите спокойно, если можете.

Я решился последовать его совету и спустился в каюту. На дороге меня поймал шкипер, успевший уже снова напиться. С неотвязчивостью пьяницы он стал приставать ко мне, чтобы я пил вместе с ним, и, получив отказ, осыпал меня ругательствами и угрозами.

Было девять часов утра, когда я вышел опять на палубу Буря совсем миновала, но сильный восточный ветер еще продолжался. Мы находились в полном его распоряжении, потому что не имели ни одной мачты, кроме бушприта, и наш бриг без руля носился по волнам, словно корыто. Так скитались мы более месяца. В продолжение этого времени я прилежно трудился под командой Гевля, стоял с ним на вахте, старался помогать ему, во всем быть полезным при каждом случае, когда мое содействие могло принести какую-нибудь пользу, и таким образом приобрел хотя несовершенные, однако же весьма достаточные практические сведения в искусстве мореплавания, а те обстоятельства, в которых мы находились, ускорили мое воспитание по этой части. Но плавать, только плавать, не подвергаясь опасности утонуть, было для нас еще не довольно: нам угрожало другое бедствие, голод. Так как запасов было взято только на переезд от берегов Англии до Испании, то они, наконец, истощились. Экипажу стали отпускать неполную порцию. Мы с Гевлем сложили свою долю провизии в общую кассу и питались наравне с матросами. Решено было предложить шкиперу, чтобы и он последовал нашему примеру. Томкинс сначала устремил на меня пьяный, бессмысленный взгляд, когда я, войдя вместе с Гевлем и экономом в его каюту, сделал это предложение; но через несколько секунд глаза его загорелись, лицо побагровело и правая рука упала на пистолеты, лежавшие на столе.

– Бунтовщики! – вскричал он в бешенстве.

Эконом, почтенный старик, в испуге спрятался за меня. Я со своей стороны не мог смотреть равнодушно на эту сцену и закричал, топнув ногою:

– Мерзкая тварь! Ты хуже собаки, которая живет здесь на бриге! Мы исполняем долг честных людей, и если ты противишься нашему справедливому требованию, так тебя нужно лишить начальства, бросить в собачью конуру. Возьми свои пистолеты, низкая душа! Возьми их, стреляй! Я не боюсь, потому что презираю тебя. Еще раз, именем всего экипажа, именем моего отца, хозяина товаров, погруженных на бриг, говорю тебе, что если ты не будешь лучше исполнять своих обязанностей, если станешь по-прежнему напиваться, то – как Бог свят! – ты увидишь, что мы с тобой сделаем!

– Да, увижу, – отвечал шкипер и, подняв пистолет, выстрелил.

Я не спускал с него глаз; движение его от меня не скрылось; я посторонился, и пуля, назначенная мне, пробила грудь стоявшего за мной старика. Не дав шкиперу времени взять другой пистолет, мы с Гевлем бросились на него, повалили на пол, связали руки и ноги.

– Вот убийца, – шепнул мне Гевль, – надобно его отдать на съедение киту, и тогда экипаж будет спасен. – После этого он кликнул негра, о котором я упомянул уже. – Югурта, – сказал он, – помоги мне стащить в заднюю каюту этот труп и этот грязный кусок живого мяса. Пусть они лежат вместе. Я буду сам смотреть, чтобы живой больше не пьянствовал. Возьми его!

Отвратительно было слышать проклятия, которые изрыгал бешеный, но связанный Томкинс. Югурта проворно отнес его в назначенное место. Тело убитого старика было почтительно поднято и положено возле убийцы. Экипаж, узнав о злодеянии шкипера, согласился, что он не может командовать бригом, и обещал повиноваться Гевлю, как старшему. Около пяти часов вечера новый командир удалился с палубы. Я последовал за ним и нашел его стоящим на коленях с раскрытой Библией в руках. Он читал так внимательно, что не слышал моего прихода. Я тихонько приблизился и, заглянув через плечо Гевля, увидел, что он читает повествование об Ионе. Дрожь пробежала по всем жилам моим, потому что я легко угадал мысль, занимавшую воспаленный и расстроенный разум Гевля. Рука моя невольно упала к нему на плечо; он вздрогнул и оглянулся.

– Нехорошо, Гевль! – сказал я как можно ласковее. – Вы предаетесь грешным и предосудительным мыслям В этой же самой книге, которая раскрыта перед вами, сказано: «Не убий!»

– Око за око, зуб за зуб! – возразил Гевль. – Но не бойтесь, ТROUTОН; я не совершу убийства; да хотя бы и совершил, так вам должно бы было благодарить меня, потому что это убийство, как вы его несправедливо называете, доставило бы вам счастье увидеться с отцом, матерью и сестрой. Впрочем, не бойтесь, повторяю вам. Всемогущий сам рассудит наше дело.

К ночи подул легкий попутный ветерок. Мы распустили все паруса, какие могли поставить, и через несколько часов увидели перед собой довольно ясно, хотя на большом расстоянии, Тенерифский пик, который прелестно рисовался на утренней лазури небес. Экипаж предался шумной радости, но Гевль стал еще молчаливее, еще мрачнее. Так прошел целый день. Бриг тихонько подвигался к берегу. Но перед заходом солнца ветер стал дуть с каждой минутой свежее, и когда наступила ночь, он сделался так крепок, что мы принуждены были убавить парусов.

– Приближается роковая минута! – сказал мне Гевль. – Скоро конец нашим бедствиям; еще прежде полуночи узнаем мы развязку великой тайны.

Он созвал весь экипаж на шканцы и произнес торжественным голосом:

– Друзья! В эту ночь нам будет много работы. Приготовьтесь! По разным приметам, которых вы не можете знать, я вижу, что до наступления полуночи поднимется сильная буря. Я велю раздать вам по тройной чарке грога на человека, но кто думает, что голове его не выдержать такой большой порции, то пусть не допьет. Нам еще надобно отдать последний долг покойному Вильямсу, а при таком случае неприлично быть пьяным. Совершим его погребение благочестиво, по-христиански, и помолимся усердно за него и за себя, потому что нам угрожает великая опасность от присутствия убийцы на нашем судне. В десять часов будьте готовы!

После этого Гевль распустил весь экипаж, оставив на палубе только двух матросов: одного управлявшего рулем и другого стоявшего на часах. Несколько минут мы молча прохаживались взад и вперед по палубе. Гевль был еще угрюмее прежнего. Когда пробило восемь часов, он велел позвать Югурту и сказал мне: – Мистер ТROUTОН, не потрудитесь ли вы отстоять за меня половину вахты? Матрос, который управляет рулем, знает свое дело; то же я могу сказать о часовом. Поэтому вы можете позволить экипажу спокойно пить грог, который я отпустил. Не вызывайте никого без самой крайней необходимости. Между тем мы с Югуртой пойдем зашивать покойника, чтобы приготовить его к погребению в десять часов. Вы знаете, в таком жарком климате нельзя долго держать на корабле мертвое тело. К тому же присутствие мертвеца приносит несчастье.

Он спустился с Югуртой под палубу, и через несколько минут я услышал там стон, который, впрочем, несколько не удивил меня, потому что он раздавался почти беспрестанно, с тех пор как Томкинс был заперт в задней каюте. Ночь была темная. По мере того как мрак спустился на волны, воображение мое становилось мрачнее. Мысль, что теперь делают у меня под ногами, случившиеся с нами несчастья и бедственные предсказания Гевля, которые я, хотя не считал за верные, однако же не мог никак изгнать из головы, – все это сильно действовало на мое воображение и тяжелым камнем ложилось на сердце.

В десять часов, – ровно в десять, – явился Гевль. Расстроенные черты лица и блуждающие взоры придавали его физиономии какое-то дикое выражение; свет фонаря делал еще страшнее нашего таинственного штурмана. Нельзя было смотреть на него без содрогания. Он подошел ко мне, поблагодарил за вахту и велел собрать экипаж для присутствования при погребении. Матросы на этот раз не выбежали с шумом и поспешностью, как бывает обыкновенно; напротив, они появились из-под палубы молчаливо и медленно, как тени, восстающие из гробов.

По желанию Гевля, который распорядился церемонией, положено было бросить покойника в воду не со шкафута, как это обыкновенно делается, а с кормы, чтобы бриг скорее удался от трупа. Когда все было приготовлено, зажгли другой фонарь, и Гевль, в сопровождении боцмана и Югурты, пошел за усопшим. Они воротились, неся его под флагом, и положили на

назначенное место. Один матрос стал с фонарем возле Гевля; все сняли шапки; Гевль хотел начинать религиозный обряд.

– Простите меня, мистер Гевль, – сказал один из матросов, – а я осмелюсь положить, что койка бедного Вильямса что-то очень грузна. Уж не зашили ли вы туда его одеяла? Недавно ветром снесло мое одеяло в воду: так мне было бы очень кстати Вильямсово. Я охотно заплатил бы из жалованья.

Югурта скорчил гримасу; Гевль сердито велел матросу молчать и не прерывать обряда. Невольный ужас охватил меня при взгляде на его суровое лицо. В то же время мне показалось, что койка, в которую был зашит покойник, шевелится под флагом. Страшная мысль представилась моему воображению; я силился отогнать ее, но напрасно: подозрения мои с каждой минутой увеличивались; я не знал, что делать.

Между тем Гевль читал.

В несколько минут поднялась страшная буря; ветер подул с такой силой, что рулевой не мог один совладать с румпелем и позвал на помощь другого матроса. Все боязливо посмотрели друг на друга.

Но Гевль читал. Ни буря, ничто не трогало этого человека; он оставался спокойным: только возвысил голос, чтобы чтение его было слышно при вое ветра и шуме волн.

Уже обряд приближался к концу. Лицо мое было покрыто холодным потом; я страдал смертными мучениями, несколько раз хотел броситься к койке и ощупать ее, чтобы проверить свои подозрения. Напоследок, когда Гевль произнес заключительные слова и вместо «его тело» сказал «их тела», ужасная истина открылась глазам моим.

– Вероломный убийца! – вскричал я, схватив Гевля за руку. – Друзья! Отнимите койку!

Но Гевль был проворнее: он успел толкнуть ее ногой, и мертвец с живым упали в разъяренные волны.

– Жестокий, суеверный человек! – сказал я. – Что ты сделал?

– Я предал киту убийцу, – отвечал он почти без малейшего замешательства, – я похоронил живого вместе с мертвым. Дело кончено; мы теперь в безопасности: буря тотчас утихнет. – К делу, друзья! Подберите большой парус!

Он сам кинулся убирать его, но прежде, чем успел это сделать, парус был изорван налетевшим шквалом. Почти в то же время огромный вал снес в море нактоуз и обоих матросов, которые управляли рулем. Бриг вышел из ветра. Весь экипаж побледнел от ужаса, и никто еще не успел прийти в себя, как у нас уж не стало ни одной из снастей, которыми мы заменили потерянные при прежней буре. Можно сказать, все, что только есть страшного в гневных стихии, все обрушилось на нас как бы по движению мстящей руки: град, дождь, ослепительные молнии, сверкающие на темном горизонте, гром, непрерывно ревуший между сизыми тучами, как голос разъяренного неба, и ветер... О, какой ветер!.. Я думаю, он унес бы на воздух весь бриг, если бы его не давило двойное убийство.

Гевль подошел ко мне бледный, смущенный, униженный. Это уж не был тот человек, который недавно казался гордым исполнителем воли карающего промысла; это был трепещущий преступник.

– Господи, помилуй меня! – произнес он, в отчаянии бросившись на колени.

Я не мог удержать своего негодования и, наклонясь к Гевлю, осыпал его горькими упреками.

– Пощадите меня, Троутон!

– Встань, – отвечал я, – встань и покажи теперь свои знания в морском деле, которыми ты так гордился! Можешь ли ты спасти нас? Или твоя преступная рука потеряла силу и движение от человекоубийства? Так жди же смерти, стоя на коленях! Мы погибнем, потому что с нами убийца!

Он не мог ничего сказать и дрожа повалился на палубу. Я сидел, ухватившись за сломанную мачту; с одной стороны подле меня была собака Баундер, с другой негр Югурта. Первая лизала мне руки и глядела в глаза, а второй осматривался кругом с совершенным равнодушием и спокойствием.

Набежал еще вал, – страшный вал! Я только одно мгновение видел, как он повис над нашими головами; секунду спустя я уже почувствовал себя в воде. Югурта и Баундер и тут были со мною: верная собака поддерживала меня на поверхности. Мы хотели плыть назад к бригу, но его уже не было: он погиб, или не был виден в темноте. Однако же Бог послал нам средство к спасению: одна из бывших на бриге шлюпок оторвалась; мы заметили ее недалеко от себя, собрали последние силы, и... Югурта успел вскочить в шлюпку и втащил меня и Баундера.

Через несколько минут нам послышался человеческий голос. Я взглянул за корму и увидел голову Гевля, который держался за крючья руля.

– Ардент Троутон, – сказал он, – вы лучше меня! Дайте мне руку. Бог с вами! Помолитесь о несчастном, который согрешил единственно по ошибке, а не по жестокосердию. Не забудьте моей бедной матери...

– Ну, влезайте, скорей! – отвечал я, стараясь втащить его за руку, которой он крепко жал мою.

– Нет, присутствие убийцы будет вам губительно.

– Что вы, Гевль? Ведь это новое убийство!

– Нет, я в руке рока; я буду держаться на воде, пока достанет сил. Прощайте! Вспоминайте о Гевле и сдержите свое обещание помочь его матери.

Он выпустил мою руку и поплыл в ту сторону, где мог быть наш бриг. В несколько секунд мы потеряли его из вида, и с тех пор я ничего не слышал об этом непонятном человеке.

## II

Не стану описывать бедствий, которые претерпели мы, скитаясь трое суток без всяких средств управлять своей шлюпкой, без возможности скрыться от дневного зноя и ночного холода и без пищи. Мучения мои увеличивались еще снами, в которых, как нарочно, видел я разные предметы неги и роскоши. Югурта хотел убить Баундера, чтоб удовлетворить терзавший нас голод, но я не согласился на это, и верная собака осталась жива. Однако, силы наши истощились до крайности. На четвертые сутки мы впали в какое-то бесчувствие, подобное летаргии. Когда я очнулся, мой ум был в таком расстроенном состоянии, что я не мог понять ничего из того, что меня окружало. Мне представлялись, будто в каком-то сумраке, в отдалении, незнакомые лица: слышался запах смолы и казалось, что я дышу не свежим воздухом. Насилу я вспомнил, что случилось со мною, осмотрелся кругом и в самом деле увидел себя в трюме большого корабля, на бухтах канатов, под ветхим и грязным парусом. Мне хотелось есть, но еще больше спать; я впал в новое беспамятство.

Пробудившись, я чувствовал себя несравненно лучше и бесконечно обрадовался, увидев подле себя Югурту и Баундера. Через несколько минут вошли в трюм два матроса с фонарями, за ними несколько дам и мужчин. Они приблизились ко мне с видом любопытства и сострадания. Доктор, – какой больной не узнает его по инстинкту? – пощупал мне пульс и, оборотясь к прочим, сказал:

– Может быть, этот безобразный скелет останется жив.

– Пустите, пустите! Я хочу сама его видеть, – произнес приятный женский голос. – Посветите мне. О, Боже мой! Как он бледен... Однако у него прекрасные, большие глаза. Может ли он говорить? Или и он так же нем, как его товарищ!

Это говорила прелестная, молодая испанка, и, глядя на нее, я чувствовал, что силы мои возвращаются.

– Благодарю вас, сеньора, – сказал я, – но прежде всего прикажите вынести меня на чистый воздух.

– Слышите? Слышите? – вскричала испанка. – Он говорит!.. Капитан Мантес, велите поместить его где-нибудь получше.

– А что, он военный или штатский? – спросил капитан, спесиво приподняв голову.

Я отвечал, что ни то, ни другое, и гордый испанец тотчас же ушел.

– Ну, так вы, господин лейтенант! – сказала тогда моя прекрасная заступница, обращаясь к другому мужчине. – Вы старший офицер после капитана; я знаю, у вас просторная каюта и вам ничего не стоит взять этого бедняка к себе, дать ему платье.

Лейтенанту, кажется, очень не понравилась эта просьба; однако он повернулся ко мне с самой ласковой улыбкой, какая только была возможна при его суровой и грубой физиономии.

– Вы моряк, сеньор?

– Нет, – отвечал я, – купец.

– Извольте видеть, донья Исидора? – сказал лейтенант. – Мое платье ему не годится, а что до каюты, то я недавно ее перекрашивал, и запах краски будет вреден больному. Лучше оставим их здесь, пока не бросим якорь.

Сказав это, лейтенант также скрылся. Донья Исидора была очень раздосадована. Она презрительно улыбнулась; но, верно, ей пришлось в голову испытать до последней крайности, как велико негостеприимство ее соотечественников, и она, обратись к одному молодому человеку, разряженному по последней моде, сказала:

– Ну, граф, хоть вы в память старинного гостеприимства иберийцев не примете ли этого несчастного в свою каюту, которая убрана с таким великолепием?

– Сперва надобно знать, кто он таков, – отвечал граф.

– Он назвал себя купцом; но это не мешает нам... Прекрасная испанка не успела договорить, как граф, испуганный словом «купец», убежал из трюма. Вместо него пришел патер.

– Слава Богу! Вот отец Ксаверий! – вскричала донья Исидора. – Спешите, спешите сюда, батюшка! Вы можете довершить спасение жизни несчастному. Дайте ему местечко в своей каюте.

– Моя каюта тесна и неудобна, – отвечал патер. Донья Исидора покраснела от стыда и неудовольствия.

– Юлиан, – сказала она молодому человеку, который держал ее под руку, – скажите что-нибудь этому бедняку, и пусть благородство души вашей внушит вам, что должно сказать.

– Чужестранец, – произнес молодой человек, бросив на донью Исидору взгляд, исполненный нежности, – чужестранец, я предлагаю вам разделить со мной мою каюту, мое платье и все, что я имею. Не говорите мне, кто вы. Для меня довольно, что вы несчастны.

Я поблагодарил великодушного юношу.

– Но, – прибавил я, указывая на негра и собаку, – со мной два товарища, и я поклялся не разлучаться с ними, потому что мы провели вместе трое суток, умирая от голода, и не съели друг друга.

Донья Исидора улыбнулась.

– Не смейтесь, – сказал ей Юлиан, – это в самом деле очень важно, что в таких обстоятельствах белый пощадил черного, и оба не умертвили собаку.

В тот же день меня с Югуртою и Баундером перенесли в каюту доня Юлиана. Судно, на котором я находился, было купеческим испанским кораблем под командованием военного капитана, шедшим из Лимы в Кадикс и оттуда в Барселону с большим грузом товаров и многими пассажирами, к числу которых принадлежал и дон Юлиан со своей двоюродной сестрой, доньей Исидорой. Две недели спокойствия и хорошая пища поправили совершенно мое здоровье, но зато мне и моим товарищам угрожало новое бедствие: капитан, считая меня англичанином, не хотел держать нас на своем корабле, по случаю неприязненных отношений между Англией и французским правительством в Испании. Благодетель мой принужден был употребить хитрость, чтобы спасти меня от его преследований, и однажды, когда я, ничего не подозревая, настойчивее обыкновенного просился из каюты на палубу, он сказал мне:

– Подите, пожалуй; только предупреждаю вас, что вы должны будете выдержать роль, которую я вам назначил.

Тут дон Юлиан объявил мне, что для устранения от меня ненависти капитана он сказал ему, будто бы я полковник испанской службы, возвращаюсь инкогнито из-за границы и не открыл себя при первом свидании оттого, что не знал, к какой партии принадлежит капитан, – к партии патриотов, или приверженцев Франции. Новость эта сперва меня очень встревожила, но чтобы не выдать своего друга, я не мог не согласиться на все и надел его великолепный гусарский мундир, который пришелся мне совершенно впору.

– Чудо! Прекрасно! – восклицал дон Юлиан, осматривая меня кругом. – Вы, право, настоящий гусарский полковник! Но нам надобно также заняться и вашим негром. Ну, черный приятель, наденька-ка эту шитую золотом куртку, эти турецкие шаровары и эту кисейную чалму... вот так, немножко на сторону. Посмотришь в зеркало: каков?

Югурта с улыбкой любовался на свой костюм, и я сам не мог не сознаться, что он идет ему, как нельзя лучше.

– Теперь, господин полковник, – сказал дон Юлиан, весело оборачиваясь ко мне, – позвольте спросить ваше имя.

– Вы его знаете.

– Ардент Тро... Тру... как бишь?

– Ардент Троутон.

– Ар-дент Трр-роу-тон! Ужасное варварское имя! Нет, вам надобно взять другое, в испанском роде. Например, дон Ардентисабелио де Тромпе-Чилья... что вы скажете?

– Я постараюсь не забыть этого имени.

– Хорошо. Не забудьте также, что вы едете в свой замок, лежащий недалеко от Барселоны, и что потом...

– Но откуда взялись эти великолепные наряды, когда мы с Югуртой были спасены в рубищах?

– Как откуда? А разве я не съезжал на берег, когда мы останавливались в Кадиксе? Разве вы тогда, будучи сами нездоровы, не поручали мне купить этот мундир и этот восточный наряд?

Нечего было делать; я согласился с предусмотрительным доном Юлианом и позволил распоряжаться мной, как он хочет. В тот же вечер мы с Югуртой вышли на палубу и начали пользоваться полной свободой. Капитан дон Мантес оказывал мне знаки глубокого уважения, часовые отдавали честь. Все это очень забавляло меня, дон Юлиана и его прекрасную сестрицу; однако порою закрадывалось в мое сердце какое-то неприятное предчувствие, и я говорил сам себе: «Чем-то кончится эта комедия?»

Наконец, мы бросили якорь на Барселонском рейде. О! С каким удовольствием я смотрел с корабельной палубы на горы моей родной страны, на башни и колокольни города, где живет отец мой! Возвратившееся здоровье пробудило во мне пылкость характера; я горел, разрывался от нетерпения броситься в объятия своего семейства... Но случайно взор мой упал на мундир, в который нарядила меня услужливая дружба, и это вызвало целый рой горестных размышлений. Что за шутком приду я к отцу? Чем докажу ему, что я действительно его сын? Каково мне будет видеть его сомнение? А если он, наконец, и поверит, тогда... что я ему представлю вместо богатого груза товаров, которых он ждет от меня? Печальную историю своего кораблекрушения!

Предаваясь таким мыслям, я невольно почувствовал какое-то отвращение от свидания с батюшкой; но это заставляло меня думать, что, вероятно, я не достаточно нежно люблю его. Мне стало стыдно; настроение мое сделалось еще мрачнее и печальнее. Вдруг кто-то ударил меня по плечу; я оглянулся: это были донья Исидора и дон Юлиан.

– Что сделалось с высокородным доном Ардентисабелио де Тромпе-Чилья? – спросила она, улыбаясь.

– Знаете ли, мой друг, – подхватил дон Юлиан, – что мы едва осмелились подойти к вам. Так вы были суровы и страшны.

– Нет, только суровы, а не страшны, – возразила донья Исидора. – Однако я требую, чтобы вы не были и суровы. Вспомните, что если бы не я, вас бы не вытащили из воды; следовательно, я имею на вас некоторое право собственности.

– О, согласен от всего сердца, – отвечал я с чувством, – вот вам рука моя! Вы и дон Юлиан вправе требовать от меня всего, чего только можно потребовать от преданнейшего брата.

Дон Юлиан крепко пожал мне руку; черные глаза доньи Исидоры засверкали от слез.

– Ну, мой друг, – сказал он, засмеявшись, – теперь, когда лицо высокородного доня Ардентисабелио стало немножко повеселее, позвольте мне спросить, не угодно ли его высокоородию отправиться в шлюпку. Капитан ждет вас в каюте, чтобы проститься. Он приказал спустить на воду лучший свой катер для доставки вас со свитой на берег.

– Хорошо, я сейчас иду, только отыщу свою собаку.

– Собаку? Ну, мой друг, ваша собака очень понравилась дону Мантесу, и он хочет удержать ее на корабле.

– В таком случае пусть же удержит и меня вместе с нею, потому что я ни за что в мире не разлучусь с Баундером.

В это время слуга капитана пришел доложить, что господин его ожидает нас на прощальный ужин; и, несмотря на сильное отвращение, которое я всегда чувствовал к дону Мантесу, мне нельзя было отказаться от этого приглашения. За столом меня посадили на почетное место. Я увидел в углу каюты Баундера, привязанного крепкой веревкой. Он лежал спокойно, пока я сидел за столом, но лишь только ужин кончился и я, простясь с капитаном, пошел из каюты, верная собака начала рваться, прыгать, визжать и, зацепив веревкой за ногу патера, опрокинула его на пол.

– Чтоб тебе издохнуть, проклятый пес! – закричал сердито патер Ксаверий.

– Видите ли, дон Мантес, – сказал я, – патер Ксаверий проклял собаку; теперь ее присутствие на корабле может быть вредно для вас и для всего экипажа. Не лучше ли будет, если вы уступите ее мне?

– Все, что вам угодно, – отвечал капитан, – только не собаку. Патер Ксаверий снимет свое проклятие. Она так мне нравится, что я никак не могу ее отпустить.

– Но эта собака моя, капитан!

– Ваша?

– Да.

– Вы ошибаетесь. На корабле нельзя иметь собак, и если вы нарушили это правило, то я могу конфисковать вашу собаку.

– Конфиск...

– Дон Ардентисабелио, – прервала с беспокойством донья Исидора, – если вы любите собак, я подарю вам другую, с такой же кудрявой шерстью, как усы капитана.

– Ах, сеньора, – сказал дон Мантес, – вы можете шутить надо мной сколько угодно, но...

– Но что же собака? – спросил я. – Отдадите ли вы ее мне?

– Нет!

По тону, каким было сказано это слово, и по выражению лица дон Мантеса я догадался, что дальнейшая настойчивость с моей стороны может вызвать между нами ссору, а эта ссора грозила неприятностями не только мне, но и великодушным друзьям моим. Поэтому я решился уступить. Следуя испанскому обычаю, мы с капитаном пожелали друг другу жить только по тысяче лет, и я вышел на палубу. Бедный Баундер выл так жалобно, что у меня сердце разрывалось. Однако я спустился в шлюпку; дон Юлиан, Исидора, Югурта последовали за мной. Я несколько раз замечал, что Югурта кидает страшные взгляды на нашего капитана, но никогда еще не случилось мне видеть, чтобы он смотрел на него так сурово, как в ту минуту, когда дон Мантес, проводив нас, также сел в шлюпку, чтобы ехать на берег мне казалось, что сам злой дух смотрит глазами моего негра.

Известно, что испанские матросы не большие мастера править шлюпками. Ветер был свежий, море волновалось; так прошло несколько минут, прежде чем наши гребцы успели разъехаться с катером капитана. Когда мы плыли вместе с ним под кормой корабля, я опять услышал жалобный визг Баундера. Это меня тронуло, и я не мог удержать своего негодования, обернулся к Мантесу и сказал:

– Дон Мантес, я непременно требую свою собаку! Гребцы, назад!

Услышав это, Югурта вскрикнул от радости и с нечеловеческой силой ухватился за нос капитанской шлюпки, с которой мы начали было расходиться. Мантес вскочил, бросил ему несколько мерзких проклятий и велел нашим гребцам править к берегу. Но это было невозможно: железные руки Югурты так и впились в капитанскую шлюпку. Произошло общее замешательство; обе шлюпки сильно качались; донья Исидора упала в обморок; Юлиан уговаривал меня сесть; гребцы с обеих сторон ругались, не зная, кого слушаться, и таким образом прошло несколько минут, а мы все стояли на одном месте, под кормой корабля.

– Баундер! Баундер! Сюда! – закричал я.

Верное животное только услышало мой голос, выскочило из окна каюты, таща за собою порванную веревку; оно бросилось в воду, облило донa Мантеса с головы до ног, потом прыгнуло в его шлюпку, опрокинуло его и спустя еще одно мгновение было уже возле меня.

Югурта захохотал, как помешанный, и начал изо всей мочи хлопать в ладоши. Шлюпки раздвинулись, и мы поплыли к берегу.

– Мантес никогда вам этого не простит, – сказал мне дон Юлиан, но я был так доволен своей победой, что не обратил внимания на слова моего друга.

Выскочив на набережную, мы все вместе пошли в английскую гостиницу, где я с Югуртой и Баундером занял особый номер. Окна мои выходили на одну из главных улиц города, широкую, длинную, красивую, осененную с обеих сторон высокими тополями. Группы каких-то молодых людей в широких плащах темного цвета, в треугольных шляпах, с длинными шпагами важно расхаживали взад и вперед, не стыдясь просить подаяния у других прохожих, которые были лучше их одеты. Дон Юлиан сказал мне, что это студенты Валенсийского университета, пришедшие в Барселону на время каникул подышать чистым морским воздухом. Так как мне надобно было, наконец, скинуть свой полковничий мундир, то я решил надеть платье студента, костюм самый удобный для меня, как для человека приезжего и не желающего объявить себя прежде получения документов о своем звании. Я в тот же день написал к Фоку о высылке моих документов, а сам нарядился студентом, купил партикулярное платье для Югурты и переселился в другую гостиницу.

Не стоит описывать, как я проводил время в ожидании ответа из Англии. Я бродил по улицам, заходил в церкви, осматривал город; но меня удивляло до крайности то, что я не встречал никакого предмета, который бы остался в моей памяти с детских лет. Еще было страннее, что у кого я ни спрашивал об отце своем, никто не мог сказать мне, где он живет: имя «Трoutон» казалось вовсе неизвестным в Барселоне.

После обеда я хаживал, обыкновенно, на одно публичное гулянье, куда собирался почти целый город. Там мне впервые от роду случилось видеть испанских дам в их прелестных национальных костюмах. Они произвели на меня чрезвычайно приятное впечатление. Их наряд состоял из черного шелкового платья, которое крепко стягивало талию и не закрывало прекрасной ножки; на голову они накидывали мантилью; под черным кружевом этой мантильи, опущенным до половины лица, сверкали молнии пламенных глаз, а белизна кожи казалась еще ослепительнее. У каждой был в руке веер, истинный жезл волшебницы, который то разворачивался, как будто для того, чтоб защищать красавицу от нескромных взглядов, то опять свертывался, чтобы напомнить ей обязанности любви; порою он гнал докучного волокиту, порою манил счастливец, который стоял вдали, ожидая условного знака. Охлаждая лицо и грудь красавицы, этот магический веер навевал пламя на сердца юношей. Но что сказать о поступи испанских сеньорит? Это – что-то такое, чему я не умею найти и названия. Говорят, что пляска есть поэзия движения; поступь испанки – еще прелестнее, еще очаровательнее.

Впрочем, я занимался не одними женщинами: праздные взоры мои с любопытством блуждали и по пестрой толпе мужчин. Одежда их гораздо разнообразнее женской. Высокий и плечистый каталонец носит белый колпак с закинутой на затылок верхушкой и широкие панталоны, стянутые красным поясом, за которым торчит кучильо, или кинжал, вещь столь же необходимая для каждого мужчины в Испании, сколь веер для женщины. В таком живописном наряде каталонец ходит гордо, смело, воинственно, не обращая большого внимания на людей, которые его окружают. Андалузец меньше его ростом, но зато лучше сложен: густые черные бакенбарды его показывают мавританское происхождение; он очень заботлив в своей одежде: все на нем чисто и аккуратно; вы не отыщете ни малейшего пятнышка на его высокой шляпе, коротенькой куртке и узорчатых панталонах, которые так плотно сидят на ногах, что кажутся тагуированной кожей.

Первобытная простота костюма поселян из Валенсии представляет резкую противоположность затейливым нарядам каталонца и андалузца. Санкюлот в полном смысле, валенсийский крестьянин носит один лоскуток толстого белого холста, который обернут у него по поясу и спускается не ниже колен, оставляя наружу загорелые икры и широкие ступни в грубых сандалиях. На голове его тоже белый колпак, как у каталонца, но без всяких украшений и без висячей верхушки. В этой скудной одежде валенсийский поселянин ходит себе, не краснея, между богатыми нарядами франтов, прелестными лицами дам, блестящими мундирами военных. Разнообразие сцены дополняется широкополыми шляпами особ духовного звания, темными рясами кармелитов, зелеными рясами корделиеров и розовыми капюшонами улыбающихся бенедиктинок. Все эти монахи и монашенки просят подаяния; за ними и перед ними бегают толпы оборванных нищих; они нагло останавливают каждого встречного, кричат и не отстают от вас до тех пор, пока не получают милостыни.

Однажды поутру я зашел в церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла Мар – «Морской Божьей Матери». Это случилось в день церемонии, ежегодно отправляемой теми испанскими моряками, которые подвергались какой-нибудь опасности, но благополучно из нее вышли. Посмотрев на достопримечательности храма, я хотел уже идти вон, как вдруг одна из боковых дверей растворилась и вышла процессия. Впереди несли множество золотых, серебряных и деревянных изваяний, представляющих разных святых, шитые золотом хоругви с шелковыми кистями, золотые и серебряные ковчеги, в которых хранятся мощи; потом шли священники с горящими свечами, епископы в великолепном облачении, прислужники с дымящимися кадильницами и, наконец, десятка три матросов, которые желали положить свою жертву на алтарь Божьей Матери. В их наружности, в чертах лиц господствовало обыкновенное суровое выражение, свойственное ремеслу моряка; но ни у одного глаза не были сухи: все эти люди спаслись от смерти, и все они были проникнуты глубокой благодарностью к провидению. Приношения их состояли в восковых свечах, в золотых или серебряных монетах. Они клали это на большое восьмиугольное блюдо, которое держали восемь священников в белом, как снег, облачении. Я думал, что тем все и кончится, но вышло напротив: этот роковой день имел пагубное влияние на судьбу мою.

Вдруг волшебные звуки органа потрясли готические своды церкви, и почти в то же мгновение чистые, сладкие женские голоса – голоса, каких я еще никогда не слыхивал, – запели ораторию на боковых хорах. Прислужники наполнили кадильницы ладаном, и густое облако дыма совершенно закрыло свод храма. Через несколько минут этот дым стал понемножку рассеиваться; тогда я увидел, что на хорах, впереди всех благородных певиц, сидит молодая девушка ослепительной красоты. Волшебный голос ее казался отголоском дивной заоблачной гармонии. Она, очевидно, была первым вокальным сюжетом в этой оратории, как была первой красавицей в городе, в Испании, в Европе, на земле. Глаза мои не отрывались от ангела, которого я видел перед собою; все способности души моей сосредоточились в зрении и слухе.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.